

ВО ЛЬВИНОЙ ПАСТИ

Часть первая

Глава 1

Из дальних странствий возвратясь,
Какой-то дворянин, а может быть, и князь...

Крылов

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!

Тютчев

В средних числах августа 1702 года над Балтийским морем разразилась жестокая буря. Бушевала она трое суток. На четвертые у нее дух заняло, и она угомонилась. «Морскую чайку» («Seemöwe»), трехмачтовое купеческое судно, пять недель назад вышедшее из Любека с грузом колониальных товаров для шведской крепости Ниеншанц на Неве-реке, слегка еще только покачивало, подбрасывало умирившимися волнами. Нам, избалованным усовершенствованиями судостроения последних двух веков, пузатый кораблик этот показался бы, быть может, довольно бесформенным и неуклюжим. Но шкипер судна Фриц Бельман считал свою «Морскую чайку», особенно с распущенными, как теперь, белыми крыльями-парусами, первой морской красавицей в мире. Даже после трехдневной отчаянной борьбы с разгулявшимися стихиями в туалете красавицы замечались сравнительно лишь маловажные изъяны: только на бизани (задней мачте) разнесло штормом брамсель (верхний парус), да на бушприте (носовой, наклоненной вперед за водорез мачте) из трех треугольных парусов недосчитывалось бом-кливера.

Бессменный на своем посту Фриц Бельман зорко посматривал вперед, по временам поднося к глазу подзорную трубу. Давно уже по

правому горизонту тянулась туманная береговая полоска; а вот впереди показались из волн и очертания какого-то острова. Совершая этот рейс не в первый раз, Фриц Бельман тотчас узнал, конечно, Крысий остров (Ratzen-Insel), который у финнов носил название Котельного (Рету-саари), а русскими переименован был в Котлин. Но пустынный в иное время островок со скудной растительностью и несколькими убогими рыбацкими лачугами, которых, впрочем, за дальностью расстояния покуда нельзя было еще и разглядеть,— представлял теперь, видно, что-то необычное: шкипер не отнимал уже от глаза подзорного стекла, и лоб его мрачно нахмурился. Опытный глаз моряка различил три военных морских судна под шведским флагом: два корвета (трехмачтовые с надпалубными пушками) и один бриг (двухмачтовый), последний по всем признакам — сторожевой крейсер.

— Опять пойдет эта проклятая проволочка с паспортами! — проворчал про себя Фриц Бельман, которому вспомнилось, что молодой шведский король Карл XII два года ведь уж воюет не на жизнь, а на смерть с молодым же московским царем Петром I. Ну, а против этого неугомонного воителя, который во что бы то ни стало хочет вдвинуть свою азиатскую державу в число европейских государств и неустанно теснит шведов, последним поневоле приходится принимать всякие предохранительные меры, хотя бы во вред международной торговле.

Тут внимание шкипера было отвлечено спорящими голосами за его спиной. Он оглянулся.

Сидевший под грот-мачтой, поджав под себя ноги, юный матросик горячо препирался о чем-то с прислонившимся тут же к мачте юношей в цветной ливрее и за спором забыл на время даже свою работу — нашивку полотняного пластыря на разодранный бурей бом-кливер.

— Что у вас там опять? — окрикнул их издали начальник судна.— Ганс, поди-ка сюда!

Матросик разом присмирел и усердно взялся снова за иглу. Ливрейный же собеседник его шутя фыркнул на него кошкой и скрылся в люк под палубу, откуда уже через некоторое время донесся жалобный зов:

— Lucien! Не, Lucien!

Шкипер признал, однако, нужным поддержать субординацию и еще строже прежнего гаркнул:

— Ганс!

Гансу ничего уже не оставалось, как приподняться и предстать пред грозные очи начальника.

— Что ты, бездельник, оглох, что ли? — грубо накинулся тот на него и наделил его такой пощечиной, что малый чуть устоял на ногах.— Зову-зову, а он и ухом не ведет! Из-за чего у вас вышел опять шум-то с этим пустомелей-французом?

— Да помилуйте, герр капитэн,— старался оправдаться матросик, придерживая рукой вздувшуюся щеку,— он говорит, вишь, что еще до шторма дул изрядный марсельный ветер...

— Ну?

— А мы шли в бейдевинде, бакбортом...

— Так что же?

— А то, что нам загодя еще надо было убрать брамсели и лавировать к южному берегу. Тогда-де и бизани нашей ничего бы не приключилось.

— Что он смыслит, щенок! Sapperment! — буркнул Фриц Бельман; но темный румянец, проступивший сквозь бронзовый загар его обветрившегося лица, помимо воли его выдал, что замечание «щенка» попало не в бровь, а в глаз.

У Ганса же настолько чувствительно горела его щека от тяжелой руки шкипера, что смущение последнего еще более его подзадорило.

— Хоть и щенок он, этот Люсьен, а всячески, слышь, был уже матросом в Тулоне и пригляделся к морскому делу,— продолжал он.— Вы сами, я чай, герр капитэн, видели, как он при первой же команде вашей «к марсам!» раньше всех нас влез по ванте на грот-мачту и стал убирать грот-брамсель. А как убрали, так не слез вниз, а уселся там на стенге, как птичка на дереве, да соловьем защелкал. Французы на все ведь руки мастера, хоть этот-то с лица, пожалуй, больше на азиата смахивает...

— Ладно! — оборвал тут болтуна начальник.— Все уши протрещал! Марш за работу, и чтобы я не видел уже вас вместе!

Тем временем «азиат-француз» спустился под палубу, где в «пассажирской каюте» — тесной, полутемной и душной каморке — не одну уже неделю томился, лежа пластом, его господин, молодой человек лет двадцати двух.

— И куда это ты, братец, опять запропал? Точно меня и на свете уже нет! — укорил он своего камердинера, но не по-французски, а по-русски.

Тот испуганно приложил к губам палец.

— Тсс, месье! Неравно слышат.

— Не слышат, волны в стенки так и бьют. Ты вообще, Лукашка, трус изрядный. Подай-ка сюда лимон.

Обсасывая свежий ломтик лимона, молодой человек, соскучась, видно, в своем одиночестве, продолжал разговор:

— А нового чего нет ли?

— Есть,— отвечал Люсьен-Лукашка,— видел я нынче поутру тюленя.

— А он тебя видел?

Камердинер рассмеялся:

— Не погневись: не заметил.

— Ну а нас с тобой здесь еще не заметили? Ничего не супсонируют?

— Матрос Ганс и то уже допытывался: с чего это у меня глаза щелочками и скулы врозь?

— Не диво, коли калмык!

— Отец у меня, сударь, точно, был из калмыков, но матушка — русская,— серьезно возразил калмык,— и сам я крещен в православной вере.

— Да рожа все же калмыцкая. Но по-французски ты говоришь весьма сносно — настоящим лакейским жаргоном.

— В три-то года времени как не перенять? И по-немецки я тут на корабле за пять недель порядком наострился. А все сдается мне, сударь, что мы на пагубу свою лезем прямо в пасть львиную, совсем вот как намедни в цирке — помнишь ведь? — укротитель зверей клал голову свою в пасть льву.

— Вот именно! — подхватил господин.— В этом-то для меня и букет всей авантюры: из львиной пасти выйти невредимым!

— Да выйдем ли?

— А почему бы нет? С Невы до наших аванпостов рукой подать.

— Но пропустят ли нас шведские-то аванпосты? Долго ли ведь обмолвиться? Ложь на тараканьих ножках: того гляди, подломятся. Сам ты, сударь, не чая, по простоте брякнешь.

— По простоте! А брякну, так долго отпираться тоже не стану. Назовусь полным титулом: Спафариев Иван Петрович, российский дворянин и помещик, и выложу все начистоту: что царь наш Петр

Алексеевич отрядил меня с другими детьми дворянскими в Тулон и Брест — обучаться навигации и морской науке...

— А ты, не спросясь царской апробации, махнул в Париж?

— Да где тут еще спрашивать было? А раз побывав во Франции, как же не побывать в ее столице, в сем новейшем Вавилоне.

— Для вящего усовершенствования в кораблестроении и мореплавании на море житейском?

— Ты, дурак глупый, чего зубоскалишь! Избаловал я тебя: страху на тебя нет. В Тулоне и Бресте мы все ж таки пробыли без малого два года. И тебе, Лукашка, право же, грех бы уж жаловаться: коли я чем negliжировал, то ты, личардой состоя при мне, всю мудрость навигационную до тонкости произошел: хоть сейчас на экзамен.

— За что тебе, батюшка-барин, личард твой и в ножки кланяется.

— Так чего же тебе еще?

— А опаска за тебя же берет. Что послан ты царем нашим за море в науку — шведы туда-сюда, может, еще и поверят, но что ты оставил при себе чужой паспорт и назвался по нем маркизом Ламбалем...

— А что ж мне было делать в моем амбара? Не разыскивать же подлинного Ламбаля по всему белу свету, чтобы получить обратно свой собственный вид? Где он теперь рыскает, бесшабашный шаматон? Один Бог ведает.

— Но как же, могут еще спросить шведы, ни маркиз, ни сам ты, сударь, при прощанье не заметили, что немецкая полиция вам паспорта обменила?

— До паспортов ли нам тогда было, сам скажи? Кто кого употчевал, он ли меня, я ли его,— и о сю пору сказать не возьмусь. А как хватился я, что паспорт не мой, так маркиза моего — ау! и след простыл. Как быть? Не сказаться же беспаспортным бродягой? Ну и поехал далее — на Ганновер и Любек.

— А почему не на Берлин и на Варшаву?

— Точно не знаешь, что в Варшаве теперь сам король шведский Карл, его людей-то таким фальшивым видом не проведешь. А на Неве и шведы-то, я чай, попроще, а главное — такая, слышь, охота на лосей, на всякую дичину... Как устоять? Мой девиз: «Хватай момент за чуб!»

— Вот то-то и есть. «Da ist der Hund begraben», как говорит Ганс: загорелось тебе за семь верст киселя поесть. Ну, да пусть по-твоему, как-нибудь и выберемся от шведов. А чем-то мы перед государем

нашим оправимся, что не токмо на полгода запоздали, а еще взяли такой круговой маршрут? Киселем у него не извернешься. Вот я все это время с Любека и раздумывал, голову ломал...

— И никакого профита, конечно, не придумал?

— Придумать-то придумал, да не гораздо мудрящий.

— Что же такое? Сказывай.

— А вот вспало мне на мысль, что коли царь наш Петр Алексеевич напирает так на Неву, то, стало, неспроста, а чтобы отобрать ее у шведов с обеими фортециями: Нотеборгом да Ниеншанцем.

— Весьма даже возможно.

— А коли так, то первым делом ему нужны планы фортеций. Ну, до Нотеборга нам далеко: он, слышь, у самой Ладоги. Но в Ниеншанце мы будем не нынче, так завтра. Вот бы нам и снять для царя этакий планчик с ниеншанцской цитадели.

— То есть разыграть шпионов! Нечего сказать, надумал! Спасибо.

— Да не шпионов, сударь, а разведчиков. Кто такой заправский шпион? Кто даст подкупить себя неприятелю. Тому и петли мало. А мы ведь сами, по своей доброй воле, в петлю лезем — во славу царя и отечества. Это попросту — военный фортель, который никому в фальшь не ставится.

— Да мы-то оба, ты да я, воюем, что ли, со шведами? Мы — люди партикулярные, и меня, как французского маркиза, в Ниеншанце, нет сомнения, еще со всеми онерами примут, а я-то в благодарность сотвори им такую пакость! Нет, брат, я хоть и не природный маркиз, но все же природный русский дворянин и на такие шиканства не капабель.

— Ну а я раб и смерд,— объявил камердинер,— мне эти дворянские сантименты не по рылу, я возьму уж на свою совесть грех, коли то грех, а не достохвальное дело.

— Чтобы мне потом быть за тебя в ответе? Шиш на место!

Калмык с мольбою сложил руки.

— Голубчик барин! Я, право же, вершил бы в свою голову! А ты знай отрещивайся только от всего: и не видал, мол, и не слыхал, и о ту пору на свете не бывал.

— Хороши мы оба,— усмехнулся Иван Петрович,— продаем шкуру, не убив медведя.

— От слова до дела сто перегонов, правда твоя, сударь, но «хочу» — половина «могу». Так ты, стало, не будешь уже чинить мне помехи?

— Ну тебя! Надоел! Отстань!

— Mein lieber Herr Marquis! — раздался тут над люком голос шкипера.— Сейчас подойдет к нам шведский крейсер, готовьтесь к таможенному осмотру.

Господин и слуга переглянулись. Лукашка глубоко вздохнул и, закатив глаза, взялся рукой за горло.

— Что с тобою? — спросил Ламбаль-Спафариев.

— А чуется мне,— был ответ,— ох, чуется, что болтаться мне на грот-мачте, как пить дать!

Глава 2

Бобчинский. В желудке-то у меня...
С утра я ничего не ел... так желудочное трясение...
Да-с, в желудке-то у Петра Ивановича...

Гоголь

Молодой Соловей сын Будимирович
Во гусельшки играет во яровчатые,
Струнку ко струнке натягивает,
Наигрыш по голосу налаживает.
По звончатым струночкам похаживает,
Игры-сыгрыши ведет от Царя-града,
А все малые припевки с-за синя моря.

Былина о Соловье Будимировиче

Опасение калмыка не было лишено оснований. Взошедший с крейсера на «Морскую чайку» шведский коронный чиновник, освидетельствовав сперва весь груз корабля и багаж пассажиров, принялся за письменные документы. Между ними особенно, казалось, обратил его внимание паспорт маркиза Ламбаля, потому что он лично пожелал взглянуть на маркиза и нарочно спустился к нему в каюту. Не найдя в его внешности ничего подозрительного и не решаясь беспокоить долгими расспросами самого маркиза, не оправившегося еще от последствий морской качки, он потребовал к себе на палубу его камердинера Люсьена.

Скуластое, с перекошенными монгольскими глазами лицо калмыка было настолько типично, что добросовестный чиновник как-то особенно внимательно оглядел его с головы до ног и затем начал обстоятельный допрос с того, откуда он родом.

Лукашка, однако, недаром пробыл три года с лишком среди французов. Скороговоркой, без запинки он затараторил о своих родителях, о двух дедах и двух бабках, о всей родне в Гаскони, так что швед, не разобрав, конечно, и половины, не вытерпел и сам прервал его. Ткнув пальцем на сделанную в паспорте маркиза относительно Люсьена приписку, он осведомился: почему у него, камердинера, не имеется отдельного от своего господина вида?

Но тут допросчик попал, как говорится, из дождя да в воду: самолюбивый гасконец благородно вознегодовал и, стуча кулаком в грудь, распространился о том, что хотя, по издавна заведенному и устаревшему, пожалуй, порядку, слуг у французов еще и вписывают в паспорт их господ, но это все же не дает еще право всякому иноземцу глумиться над французами, потому что французы, что ни говори, la grande nation...

— Bra, bra! (Хорошо, хорошо!) — морщась, остановил швед патриотические излияния француза и поставил еще один последний вопрос: почему Люсьен внесен в паспорт господина маркиза другим почерком и другими чернилами?

На это француз уже просто-таки расхохотался в лицо допросчику.

Очередь вломиться в амбицию была за шведом. Он гордо выпрямился и сухо заметил: что смешного в его вопросе?

— Mille pardon, mon cher monsieur, — отвечал с поклоном Люсьен, которому, казалось, стоило немалого усилия, чтобы снова не прыснуть, — но кому же, помилуйте, неизвестно, что министерство иностранных дел ведаёт у нас только дела господ, а мы, прислуга, подведомы полиции? Вот паспорт господина маркиза, по изготовлении, и был передан в полицию для отметки. Относительно же полиции нашей смею вам почтительнейше доложить...

Но уши солидного скандинава и без того уже звенели от немилосердной трескотни легковесного сына Гаскони. Недослушав, он безнадежно махнул рукой и отошел вон, чтобы приложить к паспорту двух несомненных французов штампель с разрешительной надписью «Visiterat» («Визирован»).

Таможенный осмотр, однако, настолько затянулся, что к невскому устью «Морская чайка» прибыла только к вечеру, и пробираться далеко по извилистым рукавам Невы до Ниеншанца в сумерках даже такому опытному шкиперу, как Фриц Бельман, показалось несколько рискованным. Поэтому он до утра застопорил, то есть бросил якорь на взморье против обросшей диким лесом оконечности пустынного и болотистого Мусмансгольма (нынешнего Елагина) — той самой Стрелки, которая в наше время служит столь излюбленным местом вечернего гулянья столичного бомонда, стекающегося сюда не столько ради действительно живописного заката солнца, сколько для того, чтобы «и людей посмотреть, и себя показать».

Теперь и герой наш решился покинуть каюту. Делать туалет свой по тогдашней вычурной парижской моде под корабельной палубой было своего рода искусством. Но благодаря расторопному камердинеру Иван Петрович уже через какой-нибудь час времени мог показаться на палубу, побритый и умытый, напудренный и надушенный. Когда он, здороваясь, подошел к шкиперу, суровый моряк измерил глазами его безупречно щегольскую фигуру.

— Господин маркиз, должно быть, в Ниеншанце бал открывать собирается? — спросил Фриц Бельман, и по жестким чертам его проскользнуло подобие усмешки.

В самом деле, внешность молодого маркиза для морского путешествия была, пожалуй, слишком «салонная». Красивое, беззаботное и выхоленное, как персик, лицо его, в меру теперь осунувшееся от долгого поста, было обрамлено широкополой пуховой шляпой и напудренным, в длинных завитках париком. Повязанный вокруг белой, как кипень, шеи кружевной шарф ниспадал изящно-небрежным бантом на пышные брыжи сорочки. Голубой шелковый кафтан поверх нежно-розового камзола свободно облегал не по летам полный стан, за пять последних недель также сделавшийся явно стройнее. Палевые шелковые чулки и остроконечные лаковые башмаки с перламутровыми пряжками завершали образцовый наряд — наряд новейшего парижского петиметра.

— А герр капитан заказал уже музыкантов? — незлобливо отшутился Иван Петрович.— Впрочем, человек мой сейчас говорил мне, что мы до завтра не двинемся уже далее?

— Где же двигаться, коли ночь на носу?

— Так накормите меня, по крайней мере, Христа ради, а то с Любека я, видите, как скелет, отощал.

— Гм, довольно плотный скелет...— проворчал Фриц Бельман и окликнул проходившего мимо корабельного прислужника.— Эй, стюард! Чашку кофе господину маркизу, да погляди-ка, не найдется ли там, в камбузе, еще чего посытнее.

Вскоре Иван Петрович сидел на складной табуретке за небольшим столиком, вынесенным для него стюардом на палубу, и с редким аппетитом уписывал наскоро изготовленную в камбузе яичницу с солониной, запивая ее горячим кофе и пенистым пивом. Молодой человек, впрочем, не был равнодушен и к красотам природы и, утоляя

первый голод, в то же время с удовольствием озирался то на далекое взморье, так и искрившееся в лучах догорающей зари, то на лесистый берег Мусмансгольма, где среди яркой зелени белоствольных берез чрезвычайно эффектно выделялись освещенные заревом заката желто-бурые стволы темно-зеленых сосен.

Но одиночество ему скоро прискучило, и, потребовав себе у стюарда бутылку рейнвейна, он попросил шкипера «сделать ему компанию». Тот не отказался и довольно снисходительно прислушивался к веселой болтовне маркиза, сам только изредка поддакивая ему односложным «гм», но тем чаще прикладываясь к своему стакану.

— Эге, да у вас тут и музицируют? — заметил вдруг Спафариев. — Вон и огонек светится. Что там такое?

И точно: сквозь прозрачные сумерки летней ночи, в отдалении, вверх по течению Большой Невки приветно мерцал огонек, сквозь невозмутимую ночную тишину призывно долетали какие-то странные, жалобно дрожащие звуки струнного инструмента.

— А там известная загородная гостиница — *besokarehuset*, — пояснил Фриц Бельман, выливая в свой стакан из бутылки последние капли рейнвейна.

— Но играют-то на чем? Арфа не арфа...

— Это кантеле — финская народная не то гитара, не то цитра о четырех струнах.

— Любопытно бы, право, взглянуть! Я сам тоже по малости бренчу на гитаре. Чу! Никак и поют?

К заунывному дребезжанию кантеле, действительно, присоединился теперь высокий тенор. Мелодия была до крайности проста и однообразно повторялась, но звучный голос певца искупал этот недостаток. Когда замер последний звук песни, послышались одобрительные возгласы.

Иван Петрович быстро приподнялся.

— Герр капитэн! Едемте-ка туда? Я только заморил червячка, а там, верно, и поужинать по-человечески можно.

— Покорно благодарю, но я вам не товарищ, — наотрез отказался шкипер. — Три ночи напролет пробыв на палубе, охотно проведешь ночь и в каюте. Вам же, *mein Herr*, я не препятствую: шлюпка моя к вашим услугам. Только не забудьте вернуться к рассвету: нарочно ждать мы вас не станем.

— Будьте благонадежны,— отвечал Иван Петрович и несколько минут спустя вместе со своим верным личардой Лукашкой спустился по штурм-трапу в маленькую капитанскую шлюпку, чтобы поплыть затем вверх по Большой Невке к манившему издали огоньку. Обошлись они без кого-либо из матросов, потому что те, утомленные, подобно своему начальнику, трехдневной бурей, расположились уже вповалку на палубе судна, накрывшись от ночной сырости парусиной.

Besokarehuset стояла на карельском берегу Малой Невки, немного не доходя той линии, где в настоящее время тянется непрерывный ряд дачных карточных домиков Старой Деревни и где в ту пору было разбросано только несколько крестьянских лачуг. Незатейливый, но опрятный домик так уютно ютился под навесом раскидистых сосен, открытые настежь небольшие окна его так гостеприимно светились огнями и звучащий оттуда здоровый смех сулил столько беззаботного веселья, что ветреник наш поспешил выскочить из лодки и духом взбежал по пологому берегу к невысокому крыльцу. Но тут он наткнулся на финна-кобзаря, широко рассевшегося на нижней ступеньке. Убогому певцу бросили, видно, только что подачку: со своим кантеле на коленях он пересчитывал на ладони несколько медных монет.

Как узник из тюрьмы, Иван Петрович вырвался сейчас лишь из своей корабельной неволи, а старый капитанский рейнвейн, разлившийся огнем по его жилам, еще более подбивал его выкинуть какое-нибудь необычное коленце. Не спросясь кобзаря, он схватил с его колен кантеле, после короткой прелюдии для ознакомления с инструментом умелой рукой ударил по струнам и свежим баритоном затянул старинный провансальский романс. Голоса в доме разом стихли, и вся пирующая братия бросилась к окнам: откуда-де вместо простого финна взялся вдруг французский трубадур? А трубадур наш, польщенный таким вниманием с грустно-нежного напева совсем неожиданно перешел на веселую шансонетку и вложил в нее столько умения, а главное — столько задушевной и молодецкой, скорее русской, чем французской, удали, что при последнем аккорде его из окон грянуло единодушно:

— Bravo! Брависсимо!

Не успел он оглянуться, как выбежавший к нему на крыльцо коренастый и полный шведский офицер в кафтане нараспашку

подхватил его под руку и втащил в горницу. Иван Петрович очутился в офицерской компании.

— Мы бовлей пунша справляем день рождения одного из наших юных, но бравых камрадов,— объяснил толстяк довольно плавно по-французски, хотя и с сильным шведским акцентом, и дружески потрепал по спине одного молоденького белобрысого и румяного «камрада».— Вот этого. Позвольте представить: фенрик Ливен, полковой наш Ганимед. Покорнейший слуга ваш — майор фон Конов. А мы, смею спросить, с кем имеем честь?..

Когда Иван Петрович отрекомендовался маркизом Ламбалем, прибывшим только что из Любека, то и остальные офицеры, державшиеся пока несколько поодаль, обступили его, чтобы поочередно, по обычаю шведов, крепко потрясти ему руку. Оказалось, что все они если и не совсем свободно объяснялись по-французски, то более или менее понимали французский язык, делавшийся уже в ту пору общеевропейским языком.

— То-то вы ничуть не похожи на уличного певца,— говорил майор фон Конов, любезно пододвигая гостю стул к столу с полуопорожненной «бовлей».— Пивали вы когда-нибудь настоящий шведский пунш? Нет? Так милости просим!

— Благодарю вас,— отвечал Иван Петрович,— но с самого Любека я, признаться, жил впроголодь. Не найдется ли тут чего-нибудь съестного?

— О, сколько угодно! Есть великолепнейшая невская лососина — сейчас нам подавали. Есть жареная курица... Впрочем, курица почтенного уже возраста...

— Почтение мое к старости не распространяется на жареных куриц, — весело отозвался Иван Петрович,— поэтому я предпочел бы лососину.

— Ха-ха-ха! — раскатисто залился фон Конов.— Кристина!

И вбежавшей на зов прислужнице он отдал по-фински короткое приказание. Вслед затем перед гостем появился чистый прибор и порядочный кусок лососины. Но для проголодавшегося молодого человека одного куса оказалось мало: он мигом его уничтожил и потребовал новую порцию. Шведские офицеры, перемигиваясь, с видимым сочувствием наблюдали за прекрасным аппетитом маркиза. Когда же он, справясь и со второю порцией, заказал разом еще две

порции, «чтобы лишний раз, знаете, напрасно не беспокоить девушку», взрыв смеха прокатился с одного конца стола до другого.

— Как хотите, господин маркиз,— объявил фон Конов, чокаясь с ним,— а рыбе надо поплавать.

Тут и остальные офицеры, один за другим, не замедлили чокнуться с маркизом, приговаривая:

— Scla! (На здоровье!)

Глава 3

Умолкли все: их занимает
Пришельца нового рассказ,
И все вокруг его внимает.

Пушкин

Тебе сей кубок, русский царь!
Цвети твоя держава!

Жуковский

— Один вопрос, господин маркиз, если вы не сочтете его нескромным,— обратился майор фон Конов к гостю, когда тот благополучно одолел обе новые порции и, отдуваясь, как от тяжелого труда, отер себе рот и руки поданным прислужницей полотенцем.— Есть у вас здесь, в Ниеншанце, родные или знакомые?

— Ни тех ни других,— отвечал Иван Петрович.

— Так какие-нибудь важные дела?

— И дел никаких. Но я — фанатически страстный охотник и никогда еще не охотился на лосей, которых во Франции и в заводе нет...

— У нас их, точно, вдоволь, особенно на одном острове, который так и называется Лосиный. Но тут, на Неве, теперь сильно пахнет порохом...

— Да! Ведь вы, кажется, воюете с русскими?

— Нам то не «кажется» только! Если вы видите нас нынче за товарищеской бовлей, то не потому, чтобы у нас здесь был вечный праздник. Мы, случается, по целым суткам не раздеваемся, не моемся, спим в глухом бору на сырой земле, едим, что бог пошлет. Вот и ловим этакie минуты братского веселья, потому что как знать, не отлита ли уже на кого-либо из нас роковая пуля?

— Да русские разве уже так близко? — удивился Иван Петрович с тем же невинным видом.

— Как близко — вы можете судить по моему головному убору.

И майор указал на лежавшую на столе шляпу, в которой виднелось сквозное круглое отверстие.

— Так это от русской пули?

— Да, и пуля та сидела бы наверняка в моей голове, и я не имел бы удовольствия теперь беседовать с вами, не дай мне капрал мой пощечины.

— Капрал дал вам пощечину? — недоверчиво переспросил гость.

— И здоровенную. Он вообще чересчур ретив, и мне не раз уже приходилось взыскивать с него за ручную расправу с нижними чинами. Но в этом случае привычка его пошла мне впрок. Было то с месяц назад, неподалеку отсюда, на реке Ижоре. Русские засели в кустах, мы шли обходом. Вдруг кто-то хватя меня с размаху по щеке, так, что я кубарем покатился наземь.— Толстяк майор жестом очень картинно изобразил, как он покатился кубарем.— Но в тот же момент мимо меня просвистела пуля. А когда я поднял шляпу, слетевшую у меня с головы, то в ней оказалось это *memento mori*. Капрал мой, изволите видеть, как раз вовремя заметил направленное на меня из кустов дуло русского мушкета и второпях не придумал другого средства свалить меня с ног, как то, которое он испытывал постоянно с таким успехом.

— И за такое оскорбление действием вы его не только не отдали под суд, но, пожалуй, представили к награде?

— Обязательно. Кроме того, я счел долгом совести от себя еще обеспечить ему старость приютом в моем доме!

— Но, живя этак в постоянном страхе перед неприятельской пулей, вы ни днем ни ночью не должны знать покоя?

— Нет, одни трусы боятся опасности. Нашего брата, военного человека, она пугает только тогда, когда уже миновала. Впрочем, храбрость есть также своего рода привычка: тот самый солдат, который геройски идет на штурм крепости, где ему грозит почти верная смерть, на корабле, во время легкой даже качки, теряется и бледнеет, как слабонервный ребенок. Точно то же и с моряком: во время сильнейшей морской бури он с невозмутимым спокойствием видит перед собою смерть в волнах, а посадите-ка его на резвого коня и заставьте перескочить канаву — он затрепещет, как осиновый лист, и от одного страха свалится с седла.

— Так русские теперь уже перед самым Ниеншанцем?

Описанный случай — исторический факт, увековеченный в одной из патриотических баллад («*Von Konov och hans korporall*») шведско-финского поэта Рунеберга.

— Нет, мы им дали острастку, и они на время отретировались. Весь май и июнь наш адмирал Нумберс возился с ними на Ладожском озере: они разоряли наши берега, мы — их, пока наконец адмирал не захватил их посреди озера и не разбил наголову.

— Мы, впрочем, тоже лишились пяти шхун,— вставил юный фенрик Ливен, которому не терпелось, видно, заявить и о себе перед почетным гостем.— Две увели у нас, две сожгли, а одну потопили...

— Пустяки! Пустяки! И как вам не стыдно, Ливен, повторять эти бабьи сказки? — укорительно прервал неуместную болтовню фенрика фон Конов.— Несомненно одно: что командовавший русской флотилией полковник Тыртов в числе многих был убит нашей картечью, и флотилия его в замешательстве рассеялась.

— И после того русские вас уже не тревожили? — продолжал допытывать Иван Петрович, которого живо заинтересовали успехи русского войска.

— На Ладого — нет. Но Апраксин, главный начальник их в Ингрии, стянул свой корпус сюда ближе, на Ижору, где в июле и столкнулся с конницей нашего генерала Крониорта.

— И где вы сами, господин майор, с вашим капралом приняли такое деятельное участие?

— Вот именно.

— Но, по вашему рассказу, вы были как будто не верхом, а пешком?

— М-да, на этот раз мы спешились...— замялся майор и покосился на чересчур откровенного фенрика: как бы опять не проврался.

Но тот понял взгляд его в превратном смысле: что шеф ищет в нем поддержки, а поддержать шефа сам Бог велит.

— О, вы не знаете еще наших лютых северных морозов! — воскликнул он.— Чтобы не отморозить ног, мы в походе зачастую слезаем с коней, а промерзшие стремяна, которые жгут, как огонь, нарочно тряпками обматываем...

— Неужели у вас и в июле месяце бывают такие сильные морозы? — удивился Иван Петрович и вопросительно огляделся кругом, но ответом ему был всеобщий громогласный смех.

Теперь и Ливен сообразил, что зарাপортовался, и, покраснев, также рассмеялся:

— А вы и поверили? Ха-ха-ха!

— Спешились мы потому, что пехота наша несколько запоздала,—

нашелся между тем майор,— а запоздала она вследствие проливных дождей, которыми все дороги размыло...

— И чем же кончился бой?

— Да, собственно говоря, ничем. Апраксин понес сильный урон, у нас тоже выбыла из строя малая толика. Когда мы отошли к Дудергофской мызе, русских и след простыл. От лазутчиков же мы дознались, что они повернули в Ливонию. Впрочем, для вас, господин маркиз, все эти имена — звук пустой.

— Не говорите. Мы, французы, едва ли не самая воинственная нация в Европе, и ни один кровный француз не может глядеть равнодушно на эту борьбу двух молодых гигантов, потому что царь Петр, не в обиду вашему Карлу, тоже гигант.

— Ростом? — тонко улыбнулся фон Конов.— Вполне согласен: в нем, слышно, без малого сажень.

Пренебрежительный тон шведа задел нашего русского за живое.

— Не только ростом, господин майор,— возразил он,— но и...

Вовремя спохватившись, он на полужизне запнулся.

— Но и мускульной силой? — тем же тоном досказал за него майор.

— Второй враг наш, король польский Август, говорят, также большой силач...

— Да еще какой! — подхватил Иван Петрович, очень довольный тем, что может отвести глаза собеседников на третьего «гиганта». — Проездом через Германию я наслышался о нем просто чудес. Так, в Торне, говорят, где состоялось одно свидание Августа с Петром, в числе разных празднеств для двух монархов был устроен бой быков. И вот во время самого разгара боя, когда разъяренный бык с налитыми кровью глазами метался среди своих мучителей, король вдруг обнажил саблю и сам сошел вниз на арену. У зрителей-поляков дух замер, потому что бешеный бык ринулся прямо на короля. Но король как ни в чем не бывало схватил быка за рога, отбросил его в сторону и одним взмахом сабли отсек ему голову с плеч.

— Ого! А царь что же? Не показал также своей силы?

— Показал...

— На быке же?

— Нет. «С животными я не сражаюсь,— сказал он,— подайте мне штуку сукна». И, подбросив сукно на воздух, он кортиком на лету разрубил его пополам. Король попробовал было сделать то же, но не

смог. Приходит мне на память еще другой подобный же случай, но я, признаться, стесняюсь немножко передать его вам, господа...

— Почему?

— Потому что вы — шведы, и то, что говорилось двумя монархами про шведов, могло бы показаться вам обидным.

— Мало ли что говорят враги друг про друга. Не правда ли, господа? — обратился майор к товарищам-офицерам. — И надо же нам знать, что говорят про нас враги!

— Само собою, не стесняйтесь, пожалуйста, господин маркиз, — раздались кругом голоса.

— Как прикажете, — сказал с поклоном наш маркиз, который не мог уже устоять против соблазна поиграть с огнем: сладостью национального напитка шведов скрадывалась его крепость, и несколько здоровых глотков пунша, вдобавок к выпитому незадолго перед тем на корабле капитанскому рейнвейну, удвоили легкомыслие и смелость молодого человека. — В первый раз Петр с Августом встретились на курляндской границе, у герцога курляндского Фердинанда, — начал он свой рассказ. — Герцог угощал их, разумеется, на серебре. Но прислуга как-то недоглядела, и королю Августу попаласть нечистая тарелка. Без долгих слов он свернул ее в трубку и швырнул в угол. Петр, полагая, что тот хочет похвастаться своей силой, точно так же свернул свою тарелку. Тогда Август взял у двух генералов, сидевших справа и слева от него, их тарелки и свернул обе разом. «И это не кунштюк», — сказал Петр и повторил то же. Перед каждым из государей стояло по массивной серебряной чаше. Король взял свою чашу и сплюснул ее между ладонями. Царь взял свою и сплюснул ее не хуже. Хозяин же, герцог Фердинанд, сидел как на иголках, ни жив ни мертв: «Им-то, небось, потеха, а мне каково? Весь сервиз, поди, перепортят!» Увидел Петр его постную рожу, рассмеялся и говорит: «Ну, будет нам силу показывать, брат Август, серебро-то мы гнем изрядно, как бы согнуть нам и шведское железо».

— Да, пускай попытаются! — перебил рассказчика один из слушателей-офицеров.

— Но в этих словах царя я не вижу пока еще ничего для нас обидного, — возразил фон Конов. — Или, может быть, он добавил еще что-нибудь?

— Добавил.

— Что же такое?

— «Да будут мысли наши столь же тверды, как наше тело»,— сказал Петр, пожимая руку Августу; на что тот ответил: «Да здравствуют две соединенные силы, и да рассеются враги в прах перед нами!» А герцог Фердинанд поклонился обоим и говорит: «Под защитой соединенных сил, даст Бог, моих курляндцев шведский лев не проглотит живьем».— «Не бойся, брат,— сказал ему тогда царь со смехом,— для этого зверя у нас есть железные сети, а разинет он пасть, так дадим ему покушать картечи...» Извините, господа, еще раз,— заключил свой рассказ Иван Петрович, видя нахмуренные брови шведов,— но слова — не мои, за что купил, за то и продаю.

— Не странно ли, право,— с горечью заметил фон Конов,— что когда люди говорят правду, то извиняются, а когда говорят ложь, то и не думают извиняться? Но львиную пасть враги наши, значит, все-таки признают? Царю Петру также не избежать ее, а король Август уже благополучно проглочен.

— Как понимать вас? Разве он уже убит или в плен взят?

— Ни то ни другое. Но именовавшийся доселе королем польским Августом Вторым сошел навсегда со сцены: решением нашего Карла с кардиналом — примасом польским и коронным казначеем Лещинским в Варшаве, он низложен с престола.

— И кого же прочат на его место?

— Французский посол, говорят, предлагает одного из наших французских принцев. Но наш Агамемнон пока не сдается, да и до того ли ему теперь, когда он занят осадой Торна? Господа! — торжественно возгласил майор, вскакивая со стула и поднимая высоко стакан.— За здравие его величества, первого льва и монарха Европы!

Все присутствующие шведы, как один человек, вскочили также со своих мест, и стаканы кругом зазвенели. Только гость их, маркиз Ламбаль, не тронулся с места.

— А вы что же, господин маркиз? — спросил фон Конов.— Или вы не одобряете моего тоста?

— Извольте! — сказал с внезапной решимостью Спафариев, поднимая также свой стакан.— За здравие его величества, первого льва и монарха Европы!

Он дословно повторил тост майора, но с такой интонацией, что фон Конов счел нужным допытаться:

— А вы кого считаете первым львом и монархом?

Вопрос был поставлен ребром, наш герой, если не желал только отчураться от собственного царя, очутился в безвыходном положении. Но на выручку ему, как не раз уже прежде, явился его верный калмык Лукашка.

Под самыми окнами ресторации, открытыми, как сказано, настезь, защелкал соловей. Все пирующие невольно обернулись.

— Что за диво? — заметил фон Конов. — В августе месяце соловей?

— А это камердинер мой, Люсьен, — объяснил Иван Петрович, у которого как гора с плеч свалилась. — Эй, Люсьен, поди-ка сюда!

Когда же камердинер появился на пороге, господин предложил ему показать господам офицерам один из своих фокус-покусов.

— Мистер Пломпуддинг на морских купаниях! — объявил калмык и в тот же миг обратился в чопорного, проглотившего аршин англичанина.

С опаскою человека, не смеющего войти в холодную воду, он осторожно выставил вперед один носок — и быстро отдернул, потом другой носок — и опять отдернул. Но — была не была! Шаркая по полу, как бы от некоторого сопротивления волн, он решительно двинулся вперед, заткнул себе пальцами уши и ноздри и присел на корточки, точно окунываясь в воду; потом разом вытянулся и важно прочесал себе пальцами несуществующие бакенбарды.

— Брр! Goddam! Однако волны! — проворчал он и подставил спину небывалым волнам.

Под напором их он изгибался всем корпусом так комично-картинно, что можно было только удивляться, что не видать самих волн. Но прибой, видно, делался все сильнее, потому что сбил вдруг мистера Пломпуддинга с ног. Несколько раз пытался он приподняться, но всякий раз его снова опрокидывало. Ничего не оставалось, как выбраться из воды ползком. Как утопающий за береговой камень, он судорожно ухватился за край стула; но тут неожиданно нырнул вдруг за высокую спинку. Что это значит?

— Восход солнца! — провозгласил он, и когда теперь из-за стула выплыла снова его широкая калмыцкая рожа, на ней была разлита такая солнечно-блаженная улыбка, что ни у одного из зрителей не могло быть сомнения, что перед ними уже не англичанин, а восходящее солнце. Но вот сияющее светило заволокло мрачными тучами: из прищуренных

глазных щелок сверкнула молния, а из надутых щек загредел гром. Молния за молнией, раскат за раскатом, все тише, тише — и солнышко опять проглянуло с улыбкой до ушей.

Зрители были в таком радужном настроении, что и менее артистическое исполнение вызвало бы у них полное одобрение. Горница огласилась шумными рукоплесканиями и криками восхищения.

— Да он у вас совершенный Протей,— сказал фон Конов, который, как, вероятно, заметили уже читатели, по обычаю того времени, охотно прибегал к метафорам из классической древности.

— Совершенный Прометей! — в тон начальнику подхватил Ливен, недослышавший хорошенько.

— А скажите-ка, Ливен,— с усмешкой спросил его майор,— кто, бишь, был Прометей?

— Прометей?..

— Да, Прометей. Военный или штатский?

— Разумеется, штатский,— с апломбом уже отвечал Ливен, вдруг припомнив что-то и просветлев.— Разве военный стал бы красть — хотя бы огонь для... для...

Фенрик опять спутался.

— Для свежей бовли? — сказал майор.— А нам бы пора заварить свежую.

— Ха-ха-ха! Bravo, Ливен! Bravo, фон Конов! — раздалось кругом.

Между тем калмык успел шепнуть пару слов своему господину, и тот, бросив прислужнице два червонца, взялся за шляпу.

— Куда вы? — спросил фон Конов.

— Да вот корабль наш уже с рассветом двинется далее. Как бы не ушел без меня.

— Так на прощанье последний «seal»? Ганимед! Вы чего смотрите? Для дорогого гостя стакан еще найдется.

Полковой кравчий не замедлил исполнить приказание.

— Пить ли еще или нет? — сказал Иван Петрович, глубокомысленно рассматривая на свет полный стакан.— Желудок мой говорит: «Да». Рассудок мой говорит: «Нет». Но так как рассудок умнее желудка, а умный всегда уступает, то, стало быть, да! За доброе знакомство, господа!

Еще несколько прощальных фраз, несколько крепких рукопожатий

— и, тяжело опираясь на руку своего камердинера, наш маркиз Ламбаль неуверенною поступью выбрался на крыльцо, а оттуда вниз к лодке, сопровождаемый из окон besokareliuset дружескими криками шведов:

— До свидания в Ниеншанце!